

Первая любовь не забывается. Она выдерживает испытание временем и расстоянием. Спустя годы Нина так и не смогла стереть из памяти Сергея, своего первого возлюбленного. Они не виделись годами... Нина с мужем жила в Турции, как принцесса в восточной сказке. Сергей, бывший работник органов, строил свою жизнь на родине. Их миры никогда не соприкоснулись бы вновь, если бы не тот телефонный звонок. Полузабытый, но такой родной голос Нины в трубке... «Сережка! Приезжай скорее! Прямо сейчас!» И сердце вновь забилося, как тогда, в 16 лет... Но что случилось? Почему она просит помощи? Что ей нужно? Их разделяют километры, годы, тайны и не сказанные слова...

www.bookclub.ua

ISBN 978-617-12-5875-4



9 786171 258754

Яна Темиз

Три цвета осени

Яна Темиз



Три цвета
ОСЕНИ





Яна Темиз

Три цвета
ОСЕНИ

РОМАН

ХАРЬКОВ  **КЛУБ**
2019 **СЕМЕЙНОГО**
ДОСУГА

УДК 821.161.1
Т32



Никакая часть данного издания не может быть
скопирована или воспроизведена в любой форме
без письменного разрешения издательства

Дизайнер обложки *Алексей Безруков*

ISBN 978-617-12-5875-4

- © Темиз Я. В., 2018
- © DepositPhotos.com / flisakkd, обложка, 2019
- © Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2019
- © Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2019

...ты знаешь, я никогда не была так счастлива, как в то утро. Мы брели по пляжу, немного похожему на этот. Была осень. Теплая, солнечная осень, так называемое «бабье лето» — время года, которого не существует, но которое было, и оно было нашим.

Ты говорил о моем длинном платье и об акварелях Мари Лорансен¹: интересно, кто она такая? Да, я помню, я так хорошо помню все, что ты мне сказал в то утро — в прошлом году, в прошлом столетии, в прошлой вечности:

...On ira où tu voudras, quand tu voudras
Et on s'aimera encore, lorsque l'amour sera mort
Toute la vie sera pareille à ce matin
Aux couleurs de l'été indien...²

Эта песня звучит и звучит — на протяжении всей этой поведи, на протяжении всей моей жизни. Я влюбилась в нее, еще не понимая, о чем она. Я влюбилась в голос, в мелодию, во французский язык, я вслушивалась в слова, я записывала их, я наконец угадала их все, я думала, что все поняла, но я ничего не знала об осени.

Ты брался за французский вместе со мной, ты учил артикли, ты подобрал аккорды на своей гитаре, ты переводил слова, чтобы они обрели смысл и для тебя. Как для меня. Ты все делал для меня.

¹ Мари Лорансен (1883—1856) — французская художница и гравер. (*Здесь и далее примеч. ред., если не указано иное.*)

² Мы пойдем, куда ты захочешь, когда ты захочешь. И мы будем любить, пока не умрет любовь. Вся наша жизнь после этого утра будет окрашена в цвета бабьего лета (*фр.*). Слова песни Джо Дассена «L'été indien». (*Примеч. авт.*)

Ты пел мне и говорил — подражая тому голосу, очень взрослому, мужскому, что-то знающему про осень и про любовь. Ты сердился и ревновал — к этой песне и ко всему миру. Ты думал, что ревнуешь к прошлому, которого у меня тогда еще не было. Наверное, ты уже тогда ревновал к будущему? К мужчине, который будет говорить по-французски и скажет, что отвезет меня в Люксембургский сад?

Прошрое в юности такое большое, значительное: это же одна-единственная ступенька, и она такая высокая, огромная, с нее страшно смотреть вниз, с нее страшно оглядываться вверх, а с возрастом их становится все больше, они теряются, стираются. Просто лесенка... Многие из них мы вообще не вспоминаем. Тебе все время казалось, что на той единственной предыдущей ступеньке у меня было что-то такое... Когда? В пятнадцать лет?

«О чем ты думаешь? — спрашивал ты, когда я вновь и вновь снимала иглу проигрывателя и осторожно и точно опускала ее на одну и ту же черную дорожку пластинки. — О чем ты плачешь? Где ты сейчас? Существоваю ли я для тебя?»

Я носила длинные, не по моде платья, я любила стихи, музеи и акварели, ты любил меня и все, что любила я. И мы танцевали, мы гуляли по пляжу и по осеннему городу.

«Мы пойдем, куда ты захочешь, — говорил ты. — Все будет так, как ты захочешь...»

И так все и стало: как я хотела.

Aujourd'hui je suis très loin de ce matin d'automne. Mais c'est comme si j'y étais.

*Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi?*¹ Наверное, уже нет. А ты существуешь для меня, все еще существуешь.

Но только там, далеко, в нашей общей осени. В прошлом веке.

Там, где началась эта история.

¹ Сегодня я далека от того осеннего утра, но вместе с тем я как будто бы там. Я думаю о тебе. Где ты? Что ты делаешь? Существоваю ли я еще для тебя? (фр.) (Примеч. авт.)

Как будто я иду по лестнице, спускаюсь, осторожно ставя ноги на невидимые в темноте ступени — и на одной из них ты. *Et je me souviens, je me souviens très bien...* и я помню, я так хорошо помню... *des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer... il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité*¹.

Вся моя жизнь так и осталась окрашенной в цвета той осени.

И если сейчас сесть и записать все-все... рассказать все про себя, то получится не сплошной рассказ, а отдельные листы — листья?

Да-да, осенними листьями рассыплется та рукопись — как когда-то в детстве, когда нас строем водили в Летний сад и мы сгребали листья в большие кучи, а потом почему-то хотелось сделать наоборот, все испортить (или вернуть к прежней естественной гармонии?), и мы подхватывали уже собранные охапки, подбрасывали их, наслаждались лиственным дождем... Так и сейчас: сначала старательно сгребашь, собираешь воспоминания, но так и хочется подхватить, подбросить, рассыпать — читай любой, начинай, откуда хочешь; и каждый листок сам по себе, он ничего уже не значит для своего дерева, только сам для себя; и россыпь листьев на мокром асфальте не складывается пазлом, листья не пронумеруешь, не упорядочишь, но они существуют — такие разные, яркие и блеклые, брошенные, одинокие, летучие, осенне-прекрасные, пахнущие дождем и детским счастьем, недолговечные... как все мы.

Как этот прохладный, неповторимый, но каждый год повторяющийся запах листьев на мокром асфальте. И узор — все-таки получится какой-то узор, красивый и, может быть, не бессмысленный.

* * *

Мне удалось прочитать это. Все — даже то, что не предназначалось для других.

¹ И я помню, я так хорошо помню высокие волны, солнце и счастье, приходящие с моря... в прошлом году, в прошлом столетии, в прошлой вечности (фр.). (Примеч. авт.)

Можешь мне поверить: написано именно так, откровенное признание, открытым текстом... Ох, да не знаю я, как можно доверять такое бумаге! Наверное, процесс захватывает, и человек, начав писать, уже не может остановиться и, в конце концов, выдает себя, выкладывает самое сокровенное?

И теперь я не знаю, как поступить. Сделать вид, что все в порядке, что я не в курсе?

Все вышло случайно, у меня не было намерения... Листки были сложены в отдельные папочки (файлики?), видно было, что их часто перекладывают, меняя местами: нумерация страниц была сбивчивой, все перепутано, и мне захотелось восстановить порядок...

Я люблю ясность, ты же знаешь! Не прочитать — просто сложить рукопись как надо.

Оказалось, что ближе к концу есть несколько пропусков... Ну да, любопытно, да, признаюсь: соблазн был слишком велик. Стол, ящик, не запертый на ключ, возможность: у меня было время, и я... Те страницы написаны явно не для чужих глаз, они были отложены, спрятаны — может быть, чтобы потом сверить-сопоставить, не проговориться? И уничтожить?

И теперь я спрашиваю тебя: что мне, нет, что нам (нам обоим! ты сейчас тоже это прочтешь, до самого конца!) делать со всем этим?! С этим знанием?! Что нам делать с моим сыном?! И — с твоим?..

* * *

— Сережка! — закричала она.

Как когда-то давно, в октябре.

И как в прошлом году... тогда она молчала, но он все равно слышал ее крик, слившийся с выстрелом.

Оба раза она спасла ему жизнь. И теперь он должен ей — целых две жизни?

Конечно, две — свою и ее.

— Сережка! Приезжай скорее! Прямо сейчас! Ты можешь приехать? — Нина задыхалась, говорила странно, каким-то чужим голосом. Она редко кричала, еще реже о чем-то про-

сила, это было так не похоже на нее, его привычную Нину. — Сереж, они оба... Их нет, понимаешь?! И это я... все я!

— Ты из дома? Из Турции то есть? — быстро уточнил он.

Потом, как это часто бывает, ему казалось, что он сразу догадался, о чем она говорит. Вернее — о ком. Догадался, ведь как раз перед тем подумал, что был должен ей две жизни — хотя и не эти.

Он был уверен, как-то сразу во всем уверен: не спрашивая, что случилось и с кем, он уже знал, что она во всем винит себя, что она испугана, доведена до крайности, что по щекам у нее текут слезы и ей трудно выговаривать слова, что сегодня она еще ничего не ела... Он всегда все про нее знал, с самого детства.

И вопрос задал четким, профессиональным тоном, без сантиментов — пусть соберется, выдохнет, опомнится. Пусть думает о простых и понятных вещах.

— Нет, не из дома, но... но отсюда, конечно. То есть из Турции. Ты не сможешь приехать, да? — Логичный вывод из его вопроса.

Впрочем, она никогда не теряла способности соображать, обычно просто закрывалась от всех, замолкала, уходила в себя, так что слова не вытянешь, но он-то знал, что тем напряженнее, тем запутаннее и сложнее она становится внутри и думает всякие страшные и странные мысли. Безостановочно прокручивая их и мучая себя ими, смешивая воспоминания, сожаления, страхи, запутываясь в упреках, мелодиях, цветных нитках, и это все надо непременно остановить, пресечь, распутать, не дать ей утонуть во всем этом, спасти ее.

Как странно, что и сейчас октябрь.

Как тогда. И как в прошлом году — когда она во второй раз спасла его.

Теперь его очередь.

— Я приеду, Нин. Не сегодня, это понятно. Я сейчас посмотрю, на какое число я смогу купить билет, и сразу приеду. Я тебе позвоню и скажу. Ты меня встретишь? Если ты не дома, то где?

Очень хотелось спросить: «Что случилось?» — но надо было дать ей передышку обыкновенными бытовыми разговорами.

Сергей точно знал: случилось нечто такое, о чем просто так не расскажешь. А уж Нина-то... У нее от любого волнения голос пропадал и глаза оказывались на мокром месте, как говорила бабушка, а когда такое... Да, он совершенно точно, бесповоротно знал, что там, в телефонной трубке, далеко за морем, случилось «такое».

Самое страшное. Он понял даже, о ком идет речь, но боялся переспросить, уточнить, назвать имена.

— Я в больнице. То есть... скоро, наверное, поеду домой... мы поедem. Я буду у... у Мераль. В их доме. Я тебя встречу, Сергей. Ты прости, что я... Просто они — ты же понимаешь, что это я их убила. Или все равно что я!

— Почему ты в больнице? Ты в порядке? Кого ты убила? А что полиция? У какой Мераль, у той?..

Слишком много вопросов сразу. А главный так и не задан: что с ее мужем? А с Кайя? «Они оба... их нет», — сказала она. Неужели?!

— У нашей Мераль. Я сама в порядке, да...

— Нин, ты сегодня ела что-нибудь? И что сказали в полиции?

— Я не знаю, мне ничего... Послезавтра похороны.

— Я могу не успеть, Нин! — Он мучительно соображал, где взять денег, где дешевле купить билет, что у него намечено на ближайшие дни и как все это отменить. Кому звонить, с кем согласовывать, кого просить. — Но я сразу... Подожди, я разберусь с начальством и билетом и тебе перезвоню. И приеду, Нин. Я скоро к тебе приеду.

Легко быть принцем на белом коне.

А старым верным другом эконом-класса на обычном самолете? Конечно, он придет. Не на похороны... надо все-таки спросить — чьи.

— Нина, скажи мне, пожалуйста, что случилось. Это муж или?.. — Он прекрасно знал и про ее «или».

— Они... оба. С Натой, — опять непонятно ответила она. — А Кайя жив. Но...

— Авария? — Это первым пришло в голову: там у них такие дороги! Вдоль обрывов, с крутыми поворотами, голова кружится.

— Да. Это все из-за меня, Сереж!

Он снова, как когда-то давно, чувствовал свою ответственность за нее: как будто не было никакой настоящей Нины, а была часть его самого, его жизни, его детства. И пусть она сколько угодно считает, что это неправильно, что она сама по себе, самостоятельная, взрослая и чужая — давно уже даже чужая жена! — но звонит-то она ему. Без него ей не справиться — он всегда так думал, всегда это знал.

«Да прекрасно она обойдется без тебя! — в сердцах говорила Настя. — Ты себе придумал какую-то беспомощную Ниночку, а она сто лет уже не такая! А может, и никогда такой не была! Это все ее пресловутая “воздушность”, не от мира сего, видите ли! Выбрось ты ее из головы, у нее вон то один, то другой... Одни эти турки на уме! Нет, я сама ее люблю, конечно, ты не подумай, она и мне как сестра, но... Да ты и сам все понимаешь!»

Сережка — так звала его Нина, так все его звали в детстве, а потом перестали, но иногда он из Сергея опять превращался в того же Сережку — не любил таких разговоров и всегда прекращал их. Просто молчал или выходил.

Не рассказывать же всякие глупости о его втором спасении. О первом еще можно, хотя и оно было случайностью, а не заслугой Нины. А второе... Мистика, глупости, так не бывает, никому не расскажешь.

И он никогда не рассказывал.

Даже Нине.

Но с ним навсегда остался этот ее зов, вернее, два зова, два крика: один громкий, полукрик-полувизг, истеричный, нервный, как будто совсем не ее, а второй беззвучный, но ясный и резкий, хотя взявшийся неизвестно откуда, может, приснившийся наяву, и оба они спасли ему жизнь. И поэтому он должен бесконечно спасать ее — от чего угодно, от любой ерунды.

А сейчас, похоже, дело серьезное, не шуточки.

Надо брать отпуск и ехать.

Я имела на это полное право.

Я не должна была делать ничего подобного.

Утро начинается или так, или этак: два варианта, третьего не дано, третий лишний... а у меня никогда ничего лишнего... Так про меня когда-то говорили, чеховской цитатой: минимум движений — это грация... которая сейчас совсем ни при чем.

В Петербурге это тоже зависело бы от солнца — только наоборот: светит хоть лучик в окно с утра — говори: «Я имела на это полное право», — живи с поднятой головой; пасмурно — получи «Я не должна была делать ничего подобного» и мучайся.

А здесь почти все время солнце, и хмурое серое утро — такая редкость, что меня оно уже стало радовать точно так же, как огорчало бы в России. И серым утром я даже чаще выбираю «Я имела на это полное право» — или это оно выбирает меня?

Вернее, он.

Приговор.

Оправдательный («я имела на это...») или обвинительный («я не должна была...»).

Вот бы однажды проснуться — все равно каким, хоть серым, хоть ярким утром! — и не думать этого вообще. А подумать что-нибудь совсем другое: «Какое прекрасное (или ужасное) утро!» — например. Интересно, я хоть когда-нибудь это сумею?

Может быть, если не думать об этом перед сном, как-то так взять и научиться не думать, то утром я буду свободна? А если бы еще не вспоминать днем... Днем столько дел, днем легко не думать, но невозможно, все равно невозможно ни разу не вспомнить! Если бы была возможна грация в мыслях — чтобы ни одной лишней...

Но я же... Да, сегодня хорошее серое, прохладное ноябрьское утро: я имела на это полное право, я ни в чем не виновата, жизнь вообще... такая.

Ничего и никого не вернешь, и не надо все время возвращаться, меня там даже не было, я никак не могла предположить, человек смертен, и внезапно смертен, кто же им так управил... Уж конечно не я.

Все, пора вниз, в свое обычное — нет, становящееся, почти ставшее обычным! — утро, кофе — и за работу.

Скоро проснется Кайя, и завтрак должен быть готов, и надо сбежать за хлебом, и к вечеру придет Мераль, а на днях Сережка, и через неделю, может быть, Настя, и соберутся все персонажи моей жизни, и всё хорошо... всё-всё хорошо. Кроме того, что... что уже не исправить.

И персонажи-то — оставшиеся в живых. Теперь они главные, других-то нет.

Аварии случаются, и если в них кто-то и виноват, то только участники.

Или стечение обстоятельств: скорость, дорога, чья-то ошибка, чья-то плохая реакция, плохая видимость, неисправность машины — а никак не посторонний человек.

Это говорила ей Мераль, это говорил ей Сережка — каждый день звонил и говорил, а она иногда принималась плакать: не просить же его приехать «прямо сейчас!», как вырвалось у нее в первый раз. Потом она все продумала, перезвонила, сказала, чтобы он не спешил, что с ней все в порядке, что она вообще зря позвонила ему и чтобы он спокойно разбирался с делами и потом уж... как сможет, а не «прямо сейчас».

Это только в книжках бывают всякие «прямо сейчас» и можно все бросить, найти денег, получить отпуск и ехать хоть за три моря спасать героиню. Но он придет. И поможет разобраться: он же сыщик. И станет понятно... хоть что-нибудь станет понятно. С аварией, со странным сообщением от Натты. И как дальше жить — тоже, может быть, станет понятно... а спешить теперь некуда. Ей надо быть с Кайей, он пока в больнице, предстоят еще операции, и она ездит к нему каждый день, возвращается к вечеру, а иногда остается и на ночь. «Пусть его выпишут, перевезем домой, тогда и приезжай».

Нина привыкла жить в этой путанице «я» и «она», привыкла произносить эти монологи — внутренние, как называла их когда-то занудная и обожавшая всякие классификации преподавательница литературы.

«Внутренний монолог как способ раскрытия характера персонажа» — вот в какие дебри зазывала она, а у Нины не было выхода: поступить на престижный факультет, минуя репетитора, сами понимаете, никаких шансов.

Единственный шанс — деньги, но таких денег, чтобы платить за учебу или давать какую-то взятку, у Нины и у ее родителей не было и быть не могло... Какая психология, господи?! Ты мне объясни, что ты потом будешь делать... где работать-то с такой профессией... что это вообще за специальность, а? Или медицинский, или иди на бухгалтера учись — или никаких тебе репетиторов, не выдумывай даже!

Самое занятное, что мать, с этим ее сварливым тоном продавщицы из сельпо, была архитектором, всю жизнь просидела в что-то проектирующем НИИ, уныло считала копейки, стыдилась того, что вынуждена получать алименты, вместо того чтобы гордо и презрительно от них отказаться, больше всего на свете любила читать (да-да, когда-то, когда она еще не начала пить, она любила читать!) и искренне хотела, чтобы у дочери все сложилось.

У нее самой вот не сложилось — наоборот, вычлось и разделось, а у Ниночки (ах, как противно она выговаривала это «Ниночка» пьяным голосом!) чтобы... только со знаком плюс!

Или даже умножилось бы.

А для этого надо непременно иметь хорошую, выгодную, всегда востребованную специальность, потому что замуж-то она, конечно, выскочит — с такой-то фигуркой... Да и глаза! Еще бы одевалась нормально, помоднее! И стрижку бы! Только солидного человека в метро да в трамвае не встретишь, а если и встретишь... мало ли, как оно повернется?

Нет, надо все самой, и бухгалтер — прекрасная профессия... Конечно, тебе неинтересно, а что у меня нет денег на таких репетиторов, ты понимаешь?! Это тебе тоже неинтересно?! Ты вообще представляешь себе, что такое психфак университета, а?! Чьи там дочки и в каких нарядах?! А что потом? Жить впроголодь и Фрейда читать, да?! Это тебе интересно?! Нин (трезвым голосом: с утра никаких «Ниночек»), не выду-

мывай, я тебя умоляю. Курсы машинописи закончишь, не вздумай бросать!

С репетитором ей повезло.

Во-первых, отец дал денег, и Нина принялась действовать. Было понятно, что на все предметы этих денег никак не хватит, но на один... хоть на полгода — должно! Нина быстро сообразила, что русский и литература — все-таки два предмета, а без хорошего сочинения ни медали своей заслуженной она не получит, ни на психфак не прорвется, так что выбор был сделан — это во-вторых.

В-третьих, в октябре Настя — соседка и подруга, такая подруга, что почти сестра, — привела ее к своей преподавательнице, а в-четвертых и в-последних, та оказалась неожиданно молодой женщиной и совсем уж неожиданно нормальным человеком.

Нина сразу выложила все: денег у нее почти нет, мать категорически против, медаль должна вроде получиться, ни врачом, ни бухгалтером я не буду, хоть убейте, грамоту и так знаю... и курсы машинописи.

«Нина, вы вот тест сделайте-ка. И не волнуйтесь так, я за это с вас денег не возьму. Начинайте, а я пойду чаю заварю, устала очень, полдня говорила... Ну вот, прекрасно! Вот здесь ошибка, и вот, хорошо... О, вот и “ни” мои любимые!» — бормотала она, с фантастической скоростью проверяя заполненный Ниной тест.

Бледно распечатанный текст краснел от пометок, а Нина краснела от стыда: какая медаль, какой университет, я бездарь безграмотная!

В голове почему-то возникли (аккуратной прописью, как на конфетах) слова «Красный Октябрь», на глаза наворачивались слезы обиды: ведь в школе она была лучшей, она столько читала, она была уверена... А сейчас эта орудующая красным девица («чуть старше меня, может, самозванка?!») выгонит ее с позором.

«Так, Нина, сделаем вот что: раз в неделю вы присоединяетесь к подруге и за эти занятия не платите ничего, а раз в две

недели приходите отдельно. Я вам буду давать побольше на дом, вам тут зря время и деньги тратить нечего. Кому же в университете учиться, как не вам?» Девушка улыбнулась, став одновременно гораздо старше и гораздо привлекательнее.

Если так рассуждать, то она тоже виновата.

Если бы не она, с ее «приемами раскрытия», «присоединительными членами предложения», таблицами и схемами, куда, как по волшебству, укладывались все жуткие правила, становясь понятными и логичными, если бы не ее полная уверенность в том, что нужно заниматься только тем, что тебе интересно, — да, если бы не она, с ее тонкими милыми морщинками и вечно светящимися изнутри глазами, с ее непонятым интересом к самым скучным и сложным вещам... нет, если бы не Нинино желание подражать ей, стать такой, как она...

...Ах, как ее вечно околдовывали старшие женщины, особенно те, которые так явно были счастливы, спокойны внутри и (самое главное и тайное!) не такие, как ее мать, — вот в чем все дело! Ее звали Марина, и не хотелось вспоминать ее отчество, и у нее был странно пожилой для нее, даже старый муж — или он так выглядел? Или так выглядела она? Нина невольно перенимала ее жесты, ее манеру водить пальцем по тексту, улыбаться до ярких морщинок, быстро говорить, часто поправлять волосы — и присматривалась, и примеряла на себя чужую зрелость: какой я буду? Смогу ли и я — такой?

В общем, если бы не она, то Нина не поступила бы в университет, не бросила бы его, не познакомилась бы с Ка, не вышла бы замуж... не оказалась здесь, не встретила бы с Натой... И ничего бы не было, так, что ли?

Или все-таки было бы?

Или было бы еще хуже?

Кстати, если записать мой непрерывный, запутанный внутренний монолог и вставить в роман, ни один читатель ничего не поймет и книжку бросит. А еще кстати: если уж ты психолог, хоть и недоучившийся, то вот села бы и записала все-все-все — рекомендуется для прояснения мозгов.

Садисься и пишешь простые, самые простые вещи, без прилагательных и наречий: жила-была девочка Нина, сначала в Петербурге, потом в Измире, еще потом на даче у моря; училась, работала, влюбилась, да не вышла замуж, опять влюбилась и не вышла, а потом не влюбилась, но вышла, а потом... и так по порядку, чтоб самой-то хоть понять, что к чему.

Но память почему-то отказывалась начинать с начала и потихоньку, по порядку спускаться по лесенке, аккуратно и точно ставя ноги на каждую ступеньку.

Память то стремительно бежала, как маленькая Нина по вечно темной лестнице в их старом доме; то замирала на какой-то ступеньке, заставляя вглядываться в каждую трещинку и соринку; то взлетала вверх, перешагивая через знакомые до мелочей: быстрее, быстрее, опять сменку забыла; то прыгала вниз: сначала через одну-две, а потом и через три. Как Нина спешила в школу, в университет, на свидания, на работу, так и память ее бегаёт вверх-вниз по лесенке, и никакого порядка не жди.

Кто-то, может, и умеет плыть по волнам своей памяти, и медленно вспоминать, и рассказывать об этом — спокойно, последовательно, подряд: детство — отрочество — юность — в людях — мои университеты.

А у нее не волны, не линия жизни, а лесенка: прыг — и ты уже на три ступеньки ниже, и застываешь там, переживая все заново... Главное — держаться за перила, чтобы не упасть. И не забыть быстро вернуться наверх — к себе сегодняшней.

...Еще можно высунуться в пролет, вцепившись покрепче в перила, и посмотреть наверх — и увидеть там зеркальное отражение того, что внизу: такие же, только перевернутые пролеты, исчезающие в темноте.

Один этаж наверху всегда освещен, и там видны силуэты ступенек и перила, а остальные идут выше и выше... Маленькой Нине казалось, что их лестница бесконечна, что если идти и идти по ней, миновав свой этаж, то можно добраться до самого неба. Правда, небо пугало: это наверняка было темное, ночное небо... Она высовывалась, как могла, на сколько

не страшно, и видела наверху только пугающую и манящую темноту.

Один раз они с Сережкой и Настей решили подняться до самого верха. Нина ничего не сказала про небо, вдруг бы они стали смеяться, она сказала просто: «Пойдем посмотрим, что там?»

Там была запертая дверь.

Сережка сказал, что она ведет на чердак... и никакого неба.

Не может быть никакой лестницы в небо.

Небо — это же... пустота, а тот, кто строит лестницу, должен куда-то прийти — или что-то себе построить там, на небе, хоть чердак. А если кто-то построил лестницу в небо, пришел туда по ней, осмотрелся и... и что? Спустился обратно, вниз? Взлетел? Или упал?

Нет, лестница ее парадного и ее памяти не ведет в небо. Не ведет в пугающее никуда.

Там, наверху, впереди, — то же самое, что внизу: зеркальные, перевернутые отражения нижних пролетов, и если хорошо рассмотреть то, что внизу, то потом не споткнешься и будешь идти без страха, уверенно обходя опасную и липкую грязь, и... и, в конце концов, можно прийти к такой двери, за которой... Нине не хотелось идти в пустоту.

Лучше — пусть там будет какая-то дверь.

Нина открыла дверь на балкон и привычно посмотрела вокруг.

Наконец-то осень.

Вернее, уже давно осень — наверное, мы в любом месте земного шара считаем ее от первого сентября: золотые шары оставлены увядать на даче, куплены мраморно-розовые гладиолусы учительнице, желто-красные кленовые букеты, собранные на асфальте, принесены домой, и их хочется нарисовать. Потом они становятся неприятно хрупкими, сухими, как старинный пергамент... Это же мертвые листья, они осыпаются трухой и прахом, превращаясь в пыль на столе, и их никак не ухватить так, чтобы они уместились в помойное ведро, — их хрусткие уголки непременно оказываются и на полу... Такая же мерзость, как выносить в середине января засохшую елку.

Но мы все равно их упорно приносим — елку, букеты из осенних угловатых лап, и привозим с моря камешки и ракушки, и засушиваем морские звезды, которые потом пылятся, и у ракушек и звезд тоже крошатся хрупкие края, превращаясь в пыль... И ромашки с тонкими колокольчиками, найденные на вдруг вынырнувшей из леса полянке, так быстро засыхают в вазе, и мы знаем, что так и будет, но приносим весь этот сор, этот вздор, и он потом застревает в памяти и видится не сором, не пылью, не брошенным около мусорных баков колючим скелетом, а чем-то прекрасным... Почему?

В сущности, мы заполняем свои жизни такими пустяками — а потом грустим, что их нет... например, осенью.

Здесь, в Турции, ее приход совсем незаметен.

Учебный год начинается не первого сентября, а позже; здесь нет этой предшкольной суеты, невольной захватывающей и тех, у кого нет детей, и возвращающей их в собственное детство за

неимением чужого; здесь никто не спешит за обязательными гладиолусами, и нет никаких золотых шаров и желтых листьев. И потом, в Новый год, — никаких натуральных елок, ни кружащих в воздухе снежных хлопьев, ни ледяных дорожек, чернот просвечивающих сквозь напыление снега, ни сосуллек, ни оттепелей... ни вечной питерской мартовской грязи, ни...

Всякие «ни» она выучила раз и навсегда. Их оказалось намного больше, чем она предполагала, хотя это была приятная ей лично частица — половинка ее самой, Ни-ны... и Кайя — когда-то, в прошлой жизни, — называл ее «Ни».

И в школе ее так звали.

И ей, школьнице, казалось, что в таком простом вопросе, как «ни», она не может ошибаться.

Но нам же всегда так кажется.

Чем меньше мы знаем о предмете, тем самоувереннее поступаем — просто не предполагая, что можем совершить ошибку. Как отличники, которые еще не проходили новой темы. Или троечники, никогда не дотягивающие до сложностей и тонкостей.

А в жизни нам ведь никто не предложит спасительную, все объясняющую, все упрощающую схему: вот, Ниночка, про «ни» это все, никаких других случаев употребления этой частицы в русском языке нет. И либо вы показываете, к какому типу относится ваша, либо признаете, что совершили ошибку. Марина говорила мягко, то весело, то почти равнодушно, как будто пытаюсь смягчить жесткость и неумолимость формулы.

Либо я признаю... Нет, я уже решила: сегодня хорошее пасмурное утро, я имела на это полное право, хватит ходить по своей лесенке и плавать в собственном потоке сознания.

С другой стороны — вот осень: либо надо признать, что она наступает по календарю, либо в подтверждение нам требуются золотые шары с коричневато увядающими лепестками и яркие, фигурные, словно вырезанные из цветной бумаги кленовые лапы на асфальте. Сначала на сером, чистом, тогда по нему еще приятно идти: красные туфли, желтые листья, красиво! А потом на черном, мокром, когда уже без жалости

наступаешь на то скомканное коричневое нечто, что не собралось в букеты: дождь, ветер, темнеет рано, грязь на темных ботинках, скорее домой...

А здесь разве осень?!

В сентябре совершенно голубое небо, не увядающая, а наоборот, начинающая восстанавливаться зелень — всех оттенков, кроме желтого. Сверкающее, почти выбеленное жарой, ничем не утомленное солнце... никакая не осень.

Да, потом чуть холодает, и отдыхающие разъезжаются, и людей в дачном поселке становится меньше: сначала всегда уезжают русские с детьми — к первому сентября, потом увозят в город местных школьников, а в конце октября разъезжаются и иностранцы, кроме постоянно живущих здесь английских семей.

И становится совсем тихо, никто не гуляет по вечерам, не включает музыку, и закрывают бассейн, и подростки не прыгают до темноты с мячом на баскетбольной площадке, и компании пенсионеров перестают стучать какой-то местной игрой вроде домино в открытом кафе... и к ноябрю устанавливается осень.

Какая уж есть.

В чем-то она даже приятнее петербургской.

Когда-то в детстве Нина запомнила картинку — знаете, бывают такие картинки из детства: не вспомнить уже, календарь ли, книжка ли, какой-то взрослый журнал? Или из какого-то музея? Альбом репродукций? Кадр из диафильма? Знаменитый, но неизвестный ребенку Альфонс Муха?¹ Нет, не припомнить, а картинка видится так ясно и ярко, с мельчайшими подробностями, и вокруг эти размытые, акварельные воспоминания: какие-то комнаты, люди, чьи-то лица и голоса... и среди этой путаницы и полусна вдруг ярким пятном, четкими линиями одна картинка, так странно. Так Нина помнила Осень в виде девушки — венок из желтых листьев, какая-то рябина, много плодов

¹ Альфонс Мариа Муха (1860—1939) — чешско-моравский живописец, театральный художник, иллюстратор, ювелирный дизайнер и плакатист, один из наиболее известных представителей стиля «ар нуво».

в корзине, то ли богиня, то ли колхозница сталинского ампира. Наверное, где-то рядом были и Зима, Весна, Лето, но это не то, не то: женщина представлялась ей только Осенью, а осень — женщиной, не девчонкой и не старухой, а самого главного, самого женского возраста и времени.

Ранняя осень — как Марина: еще молода, хороша, как-то прозрачна, прохладна и чуть равнодушна, слегка подкрашена, не так шумна и навязчива, как лето; она спокойней, тоньше, опытнее и умнее лета, и в первых морщинках угадываются прошлые улыбки, и волосы еще золотисты, и слезы набегают ненадолго, и серые глаза еще светятся голубизной, и рука изящно держит не очень нужный веселый зонтик — рядом с такой женщиной так легко дышится: ни утомительной жары, ни удручающего холода.

В октябре она начинает красить седеющие волосы рыжей хной, а губы — рябиново-красным. Она так не хочет стареть, сдавать каких-то ей одной ведомых женских позиций, глаза ее становятся сердитыми, раздраженным ветром вспыхивают ссоры, она не боится ранить обидным словом, она одевается ярко, вызывающе, почти вульгарно, она слишком старается быть красивой; она ненавидит свои морщины, сердится на зеркала, верит в спасительный крем и ботокс; она дарит не прозрачную легкость никому не нужных листьев, а весомые румяные яблоки — не пастель, а масло или акрил. Она все уже знает о себе, но делает вид... ах, удержаться бы еще в этом бабьем лете! — и укорачивает тесноватую юбку — колени еще вполне! — и ревниво посматривает на ровесниц: а они как, лучше меня или такие же? И повторяет заветное «Баба — ягодка опять!», но однажды, как-то вдруг, устает от борьбы с собой.

И тогда забывает все: волосы отрастают изжелта-небрежной сединой, рыжина превращается в ржавчину, морщины не прячутся под тональным кремом, темные тучи и коричневые палые листья побеждают в одежде, и можно позволить себе быть грязноватой, и пахнуть потом и нечищеными зубами, и не пришивать оторвавшийся уголок зонта к сломанной спице, и презрительно раздавать черную от мокрой земли

картошку вместо красивых яблок, и хрипло грубить, и курить, и вести себя как угодно — до непролазной грязи под ногтями и дождевых червей на улицах... Это и есть поздняя осень, и вы там будете... Ничего не вернуть, не надейтесь, скоро зима — женская смерть.

Такой Нина помнила мать: это ненатуральное, накрашенное отчаянное желание удержаться, быть ярче, лучше себя самой, ее нервные вспышки, ее слишком сильные духи, ее красные губы, рыжие волосы, кокетливый смех с какими-то мужчинами, запах перегара, тушь, размазанную под глазами.

«Бабье лето!» — говорила она и голосом, размазанным, как тушь, подпевала одной и той же песне... Ах, как Нине были противны исковерканные французские слова: «Тут-ма-ви... се-ра-парейя-а се-матэн...» Мать не попадала в такт, сбивалась на «ля-ля-ля-а... дю-лителиандьен!» — и пьяно всхлипывала, и теребила, чтобы вытащить танцевать, опустившего голову на стол кавалера... Нина так хотела забыть ее — такую, но помнила.

А потом, почти без перехода, помнила ее уже располневшую, бесформенную, в каком-то халате, который всегда почему-то казался грязным, с ужасной сумкой, в которой Нина мгновенно улавливала звон или стук бутылок, и ее вчерашнее пальто как-то вдруг стало убогим и старым... совсем поздняя осень, да. Когда только грязь и промозглый ветер, и птицы — какие-то темные, противные — летают косо, как пьяные, и темнеет рано, и сломан зонт, и понятно, что впереди уже ничего, как ни беги от всего этого... А от матери, как от поздней осени, не убежишь — разве что в зиму, в смерть? В чью — в ее смерть? И над всем этим яркой насмешкой иногда вдруг сверкнет неуместная кисть рябины — женщины так долго держатся за свою красную помаду, так неоправданно долго... Ягодка опять? Горькая и сморщенная, неуместная, как насмешка: рябина вообще никакая не ягода — горечь, одно название.

Турецкая осень осторожнее и умнее — как Мераль.

Да-да, если уж представлять себе женщину в виде осени... или осень в виде женщины? «Вечно ты выдумываешь, Нинк!» — фыркнула бы Настя! — но если все-таки представить, то пусть

после тонкой прозрачности сентября будет по-парижски стильная, взрослая, такая уверенная в себе, такая манкая, такая насмешливая и не прячущая морщин Мераль.

Мераль с ее цветастыми, всегда подобранными в тон шелковыми косынками, с незаметным, но продуманным макияжем, с ее отличными туфельками и крупными необычными кольцами на ухоженных руках — дорогая, эффектная, не заигрывающая с возрастом, красивая немолодой красотой, гордая собой осень... не зря прожитое лето. Как коньяк, как темное терпкое бордо — на любителя и ценителя. Про нее никто бы не сказал «баба». Которая якобы ягодка.

А еще позже — пусть будет Ксения Ивановна, в ее светлосерой пушистой шали, с ее несгибаемо прямой спиной и длинными юбками, со старинной камеей на всегда чистой, хотя старенькой блузке, с седой косой, собранной в строгий пучок... Уютная осень, когда холод легко победим теплым свитером и горячим душистым чаем, и не страшно, что скоро зима. Есть такие женщины, возле которых совсем не страшны старость и серость... их мало, но они есть.

В Турции как раз такая осень — красивая во всех своих возрастах.

Внизу, невидимые под крышей террасы, ссорились кошки: да, осень, ноябрь, все разъехались, все местное зверье собралось у нас... Всё, спускаюсь!

Нина привыкла рано вставать.

В Петербурге даже зимой вскакивала затемно, читала, доделывала уроки, накручивала на бигуди волосы. Ей нравилось, что в их коммуналке ранним утром тихо и пустынно, движение в ванной и на кухне начинается после семи, и если встать в шесть или раньше, то можно представить себя в абсолютном одиночестве, полной хозяйкой дома и своей жизни, независимой и взрослой.

Потом это ее умение рано вставать тоже оценили — на фоне остальных недостатков это выглядело серьезным достижением. Всем в семье мужа казалось, что она делает это нарочно: чтобы им понравиться, выслужиться, что ли. А она и делала

это нарочно, но с совершенно другой целью: чтобы никого не видеть, чтобы снова, как в петербургской коммунальной кухне, хоть на час придумать себе другую жизнь — одиночество, независимость, тишина.

Если правда, что каждый получает в жизни то, чего — осознанно или неосознанно — действительно хочет, то у Нины все получилось, и теперь, вот уже месяц, всего этого было в избытке.

Даже поделиться можно.

Но, наверное, если поделиться тишиной, одиночеством и независимостью, то тебе самой их-то и не останется?

Теперь, в ее третьей жизни, можно было не вставать в шесть.

Нина вставала около семи — это все равно было рано, и она успевала насладиться утренней свободой, теперь настоящей, не придуманной и не украденной.

Раньше — и в питерской коммуналке, и потом, в Турции, в том, другом ее доме, — кто-нибудь мог в любой момент нарушить ее утреннее уединение, просто тоже встав пораньше и сказав ей безобидное сонное «доброе утро!».

Теперь это было невозможно.

Вставать некому.

Если бы Ка... Кайя... интересно, я сердилась бы, если бы он вставал и выходил по утрам? Или радовалась бы?

Если только представить себе... Нет, не нужно, врачи не обещают никаких чудес, хорошо еще, что все закончилось так.

Что он остался в живых.

Если правда, что каждый получает то, чего действительно хочет... тогда ты получила — идеальный вариант. Нет, но я же не хотела... Я не могла себе представить!

Внутренний диалог — это уже шаг к раздвоению личности, прекрати сейчас же — при твоей-то наследственности!

Что бы ты понимала в раздвоениях и личностях, если так и не доучилась! И считать себя психологом не имеешь никакого права. Ни на что не имеешь права... ни на что... Ни-на... что?

Нина пила кофе, смотрела на черные силуэты деревьев на любимой чашке и автоматически перебирала привычные мысли.

Новых не было и не могло быть — откуда? Для новых мыслей надо что-то видеть, что-то читать, где-то бывать, разговаривать с кем-то, в конце концов.

Сегодня придет Мераль — единственный человек, с кем можно говорить, ничего (почти ничего!) не скрывая.

Мераль считала, что Нина все делала правильно. Что она ни в чем не виновата.

Мераль... прекрасная, удивительная женщина, идеальная свекровь (нет, не моя!), старшая подруга, почти мать. Мераль посадила за домом дикий виноград, его листья никогда не желтеют, а сразу, без перехода, краснеют, и кажется, что наступает настоящая осень, и Мераль любит сидеть под ними с книгой... совсем родственная душа.

Раньше у нее была Ксения Ивановна, а теперь Мераль.

Нина понимала, почему ее всегда тянуло к старшим женщинам: она с детства искала замену матери, которой как будто и не было... то есть она, конечно же, была, но... Нине понадобилось немало лет, чтобы суметь мысленно выговорить запретное: «Я никогда не любила свою мать. Моя мать меня никогда не любила». Даже Ксения Ивановна, при всем ее тайном свободомыслии, никогда не подпускала Нину к этой пропасти — отводила, загораживала собой: твоя мама просто такая, Нин, ничего не поделать, надо любить любую.

А как это может быть — «надо любить»? Разве не противоречие, не оксюморон? Разве можно любить, потому что надо?

Вот бы объяснить это Ка, он никак не хочет понять, что она здесь не потому, что это надо. Все «надо» в ее жизни кончились.

Осталась только любовь — да лесенка памяти, по которой она не может не ходить вверх-вниз.

Некоторые ступеньки освещены: скоро лестничная площадка и мутный свет из грязного окна — или тусклая лампочка в запаутиненной пугающей вышине; некоторые в тени, ровно-серые: не во что вглядываться, наступай — не бойся. Некоторые и без света знаешь наизусть: эта гладкая, как лакированная туфелька, но с обломанным краем, а на этой знакомая трещина, — и с закрытыми глазами не поскользнешься

и не зацепишься каблуком. Некоторые совсем темные — и через них так и хочется перешагнуть, пропустить их: мало ли, вдруг туда что-то пролилось или там какая-нибудь обычная для их парадного вонючая либо склизкая мерзость, в которую ни в коем случае нельзя попасть ногой. Не хочется даже вдумываться, что это за мерзость, и перешагиваешь, покрепче вцепившись в перила... Так и память.

Только ей давно не за кого держаться.

Надо объяснить Ка, что она не может остаться одна на этой лестнице, ей непременно нужно на что-то опираться, он нужен ей, она не справится одна. Неужели есть такие счастливицы, которые просто идут и идут себе по лестнице своей жизни, а если и оглядываются, то видят светлые гладкие ступеньки — такие, как здесь, в ее нынешнем доме: из серо-белого мрамора, всегда чистые, понятные, ровные, знакомые до мельчайшего завитка на узоре?

Мераль будет ночевать в доме для гостей, надо бы вымыть там лестницу, раз уж вспомнила, — и завтра тоже никто не нарушит твоего утреннего покоя, как ты всегда и хотела.

Кошки продолжали выяснять отношения, и Нина вышла к ним с сухим кормом — единственное спасение: рассыпаешь его по дорожке узкой длинной полоской, и никаких драк, всем достанется. Мераль, в отличие от большинства турецких женщин, и против кошек ничего не имеет.

Хорошо, что не надо поливать газон: ноябрь, по ночам прохладно, трава из летней, желтой, превратилась в зеленую — все наоборот... разве бывает зеленая осень?

Нина вспомнила, как в прошлом году, в сентябре, обрадовалась, вдруг увидев желтый лист на дереве, — нечаянная радость, почти старый друг, привет из осеннего Петербурга.

Из их с Ка общего, дождливого и холодного золотистого сентября. С которого многое началось — почти вся эта история.

Может быть, так и вспоминать: сентябрь, октябрь, ноябрь — потом следующие сентябрь, октябрь, ноябрь? Всю жизнь — как цепочку осенних месяцев, в которые, как ей казалось, она только и жила? Зима всегда была затишьем, отдыхом после осени;

весна мучила ожиданием лета, само лето надо было как-то перетерпеть, перезимовать — да-да, про себя Нина так и думала, этими самыми словами: «перезимовать лето!» — и ждать осени, и вспоминать хрестоматийное: «И вот наконец-то дождливый сентябрь...» — и тогда уже начинать жить.

Сентябрь, октябрь, ноябрь... с, о, н — сон...

Осень — прекрасный сон. Или счастливый конец?

* * *

— Кайя, — представился он. — Это означает «камень».

— Тогда наш город вам подходит! — улыбнулась Нина.

Наверное, очень солнечно улыбнулась: надо же, какое совпадение, так же не бывает, она ведь уже слышала эти слова, хотя не по-английски, да и то имя было не турецким, но если одна история любви началась с таких слов, то почему бы и ей не... Нет-нет, только не увлекаться. Не выдумывать лишнего — по обыкновению.

На его лице возникло отчетливое и недовольное непонимание: что она говорит, на каком языке, или мой английский так плох, или ее английский еще хуже, или я сказал что-то лишнее, или я никогда не смогу ее понять и с ней... ну, хоть работать?

И Нина вдруг совершенно ясно увидела, что может читать по его лицу, как по книге: вплоть до подтекста и надтекста, застрявших в памяти с тех же уроков литературы. В школе такому никогда не учили, вот оно и казалось откровением. Следующей ступенью познания — не меньше.

— Имя Петр тоже означает «камень», а Петербург назван в честь Петра, и получается, что вы с ним... — Ей хотелось сказать «тезки», но она не помнила такого слова по-английски, да и есть ли оно? — Раз ваше имя тоже означает «камень», то наш город вам подходит, — старательно объяснила она.

Он позволил себе улыбнуться: видимо, размышлял, не слишком ли это большая вольность со стороны новой секретарши по отношению к нему — большому начальнику. Она была новенькой и никогда не готовилась в секретарши, но, что поделаться, пришлось ею стать, отличная должность и зарплата тоже.

Потом-то они забыли: начальник, секретарша — какая разница? Но поначалу оба остро чувствовали напряженную двусмысленность своего положения, как будто обязывающего их играть по не ими заведенным правилам, а они оба так не любили этого — играть.

Большим начальником он стал не так давно и не успел привыкнуть к своему положению. Было понятно, что вести себя как простой инженер начальник проекта не должен, иначе никакой дисциплины, никакого порядка, невыполненные планы, недополученная прибыль и прочие неприятности.

Стройка намечалась большая — огромный торгово-развлекательный центр, один из первых в Петербурге, и владелец фирмы очень беспокоился о том, чтобы эта работа была выполнена идеально: и вовремя, и качественно, и пусть хоть себе в убыток, но... чтоб без проблем, тут еще строить и строить, ничего же нет, одни особняки да музеи! Приходилось руководить с утра до ночи — и играть. То в строгого начальника, то в доброго и все понимающего отца — покровителя рабочих, то в хитрого бизнесмена, то в богатого иностранного инвестора... А что поделать?

Оказалось, что в Петербурге очень холодная осень.

Холоднее, чем в Париже. И холоднее, чем зима в Турции.

На темном мокром асфальте россыпь желтых листьев — он быстро проходил несколько метров от машины до лестницы офиса и старался не наступать на них.

Этой осенью он стал очень спешить на работу.

Он торопил шофера и быстро открывал дверь своего кабинета, только чтобы увидеть, как она поднимет на него глаза. Или уже будет смотреть на дверь, а когда он войдет, то... Ему хотелось подойти поближе и заглянуть: что там, в этих глазах? Она ждала его или ей все равно? Она улыбнется или просто посмотрит? Она почему-то редко улыбалась.

Ему казалось, что в глубине ее глаз есть желтоватые искорки или точки, и ему нестерпимо хотелось их рассмотреть. Только нужно очень-очень близко... Он намеренно и очень старательно обходил ее стол.

Он стал приходить раньше, чтобы увидеть, как она входит и снимает пальто, не ожидая, что он уже в кабинете.

Она стала приходить еще раньше, чтобы подготовить лицо к его приходу.

Он забыл, что это его офис, а не место свидания с любимой женщиной, и по утрам как-то особенно долго и неудачно завязывал галстук.

Она совсем не носила украшений и одевалась так просто, что ему казалось: ей не хочется ему понравиться.

Он так тщательно обходил ее стол и так упорно смотрел себе под ноги, что ей казалось, будто ему неприятен ее ненарядный вид. Все-таки она секретарша и должна... Она много чего должна, но красить ногти и ресницы категорически не хотелось.

Он стал задерживаться на работе и не знал, как ему задержать ее — ради работы? Но тогда она будет делать эту работу... Попросить приготовить кофе? Ему было неловко просить ее о кофе, и однажды днем он сам пошел и принес себе кофе (и чуть не принес и ей!), а она посмотрела странно и как-то обиженно.

Сентябрьские дни тянулись долго и пролетали быстро.

В тот день она тоже задержалась, просто что-то разбирая у себя в столе.

Он сидел в кабинете, делая вид, что смотрит в монитор, а сам наблюдал в приоткрытую дверь, как она перекладывает какие-то бумаги.

Ему очень хотелось узнать: это нужные бумаги или она тоже...

«Нина! — не выдержал он. — Что вы там делаете?»

«Ничего, господин Кайя, — сказала она. — Так... бумаги... Я сейчас пойду».

Он был счастлив, что она не сказала ничего делового, толкового — просто «ничего... бумаги».

«Я тоже сейчас пойду», — осмелился произнести он.

Они молча вошли в лифт и какое-то время стояли, не нажимая ни на какую кнопку. А потом оба сразу потянулись нажать, столкнулись руками — и так и не нажали. И никак не могли вспомнить, как им все-таки удалось оказаться внизу.

Они еще немного постояли в открывшем двери лифте.

Его ждала машина с шофером, ее — метро.

Шел дождь, в луже под фонарем поблескивали мелкие желтые листья.

«Я могу вас подвезти», — выговорил он, хотя знал, что она откажется.

Она отказалась.

«Тогда... Я еще ни разу не был в вашем метро... Можно?»

«Что можно? В метро? — удивилась она. — А куда вы поедете?»

«Сначала с вами, а потом в гостиницу». Он знал, что официально она не замужем, но знал и то, что в России это ровным счетом ничего не значит.

У нее может быть кто угодно, и этот кто угодно может ждать ее дома. А бумаги она перекладывала по делу, и в глазах ее ничего не было, когда он входил, он все придумал. Только золотые искорки-точечки, кажется, все-таки были... или нет?

«Вы потом не найдете свою гостиницу». Она не отвела взгляд... Да, вот они, эти искорки — вот бы еще поближе... А говорят, у всех русских голубые глаза, а у нее... какие? Медовые, ореховые, светло-карие? Совершенно осенние глаза. И ресницы... черт, она не красит ресницы, их можно тронуть губами.

Кайя никогда не притрагивался губами к женским ресницам.

Те женщины, с которыми он раньше... которых он... использовал — он никогда не называл это никаким другим словом, те слова были грубы, напоминали резкую речь отца, а Кайя хотел говорить на интеллигентном, рафинированном языке матери, — эти женщины, чьих лиц он специально не запоминал... разве им можно целовать ресницы? И в голову не придет. О них неприятно, даже противно вспоминать, хочется поскорее забыть, и Кайя давно уже не бывал у них, даже жалел, что вообще когда-то думал, что это правильно и нормально — посещать публичные дома.

«Прекрасная» Бахар, которую мать прочила ему в невесты и которая очень старалась стать его невестой, красила ресницы так, что прикасаться к ним губами совсем не хотелось. Это

были очень длинные, правильные, идеально окаменевшие ресницы... их бы под этот дождь...

В глазах у прекрасной Бахар не было никаких золотых искорок — или были, а он просто не всматривался? У Бахар были золотые кольца и блестяще-звенящие браслеты. Она красиво улыбалась — и целовать ее накрашенные губы было страшно: краска же. Или дело не в краске? Вот сейчас перед ним другие глаза и губы — и ему все равно, накрашены у нее губы или нет... кажется, нет.

«Я найду. — О чем это было? — Я найду гостиницу. Вы мне объясните, как проехать, и я найду».

«Хорошо, — неуверенно сказала она, — только...»

Кто-то, конечно, будет ждать ее у метро, думал он.

Она думала, как ему понравятся их парадное и подворотня в Дегтярном переулке. Петербург Достоевского, однако.

Хорошо бы сейчас протянуть руку и погладить ее по голове — интересно, какие они, ее волосы? Вот же они, совсем близко... и, наверное, мягкие, как шелк...

«Нинк! — почти грубо, с громким “к” на конце крикнул ей водитель Сергей, высунувшись из большой черной машины. — Ну он поедет уже или нет? Скока можно, блин?!»

«Он не поедет, Сергей. — Нина тщательно выговорила имя. С именем “Сергей” у нее были непростые отношения, оно, как назло, постоянно вмешивалось в ее жизнь. Начиная с отца. — Ты можешь ехать, а он сам...»

«Брось, Нинк, хрен ты его заловишь! Светка пыталась, а у ней фигура-то была... ух и ах! Он точняк голубой! И что вы все нашли в этих турках, дуры, блин?!»

«Скажите, что он может ехать, — вмешался Кайя. Он не понял слов, но тон водителя был ему неприятен. — Я его отпускаю до завтра».

«Я уже, — Нина покраснела, — я уже его отпустила... да. Сергей, — решительно и официально выговорила она по-русски, — вы свободны до завтра».

Черная машина недовольно фыркнула и плюнула им под ноги водой из лужи.

Літературно-художнє видання

ТЕМІЗ Яна
Три кольори осені
Роман
(російською мовою)

Керівник проекту *В. А. Тютюнник*
Відповідальний за випуск *К. В. Озерова*
Редактор *А. О. Колюбакина*
Художній редактор *А. О. Попова*
Технічний редактор *В. Г. Євлахов*
Коректор *А. В. Альошичева*

Підписано до друку 22.03.2019. Формат 84x108/32. Друк офсетний.
Гарнітура «Newton». Ум. друк. арк. 15,12. Наклад 5000 пр. Зам. № .

Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»
Св. № ДК65 від 26.05.2000
61140, Харків-140, просп. Гагаріна, 20а. E-mail: cop@bookclub.ua

Віддруковано згідно з наданим оригінал-макетом
у друкарні «Фактор-Друк»
61030, м. Харків, вул. Саратовська, 51. Тел.: + 3 8 057 717 53 57

Литературно-художественное издание

ТЕМІЗ Яна
Три цвета осени
Роман

Руководитель проекта *В. А. Тютюнник*
Ответственный за выпуск *Е. В. Озерова*
Редактор *А. А. Колюбакина*
Художественный редактор *А. О. Попова*
Технический редактор *В. Г. Евлахов*
Корректор *А. В. Алешичева*

Подписано в печать 22.03.2019. Формат 84x108/32. Печать офсетная.
Гарнитура «Newton». Усл. печ. л. 15,12. Тираж 5000 экз. Зак. № .

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
Св. № ДК65 от 26.05.2000
61140, Харьков-140, пр. Гагарина, 20а. E-mail: cop@bookclub.ua

Отпечатано согласно предоставленному оригинал-макету
в типографии «Фактор-Друк»
61030, г. Харьков, ул. Саратовская, 51. Тел.: + 3 8 057 717 53 57

УКРАИНА

- по телефонам справочной службы
(050) 113-93-93 (МТС); (093) 170-03-93 (life)
(067) 332-93-93 (Киевстар); (057) 783-88-88
- на сайте Клуба: www.bookclub.ua
- в сети фирменных магазинов см. адреса на сайте Клуба или по QR-коду



Для оптовых клиентов

Харьков

тел./факс +38(057)703-44-57
e-mail: trade@ksd.ua

Киев

тел./факс +38(067)575-27-55
e-mail: kyiv@ksd.ua

**Приглашаем к сотрудничеству
авторов**

e-mail: publish@ksd.ua

**Приглашаем к сотрудничеству художников,
переводчиков, редакторов**

e-mail: editor@ksd.ua

Перше кохання не забувається. Воно витримує випробування часом та відстанню. Через роки Ніна так і не змогла стерти з пам'яті Сергія, свого першого коханого. Ніна з чоловіком жила в Туреччині, як принцеса у східній казці. Сергій, колишній працівник органів, будував своє життя на батьківщині. Їхні світи ніколи не перетнулися б, якби не той телефонний дзвінок. Напівзабутий, але такий рідний голос Ніни... «Серьожка!.. Приїзди якнайшвидше! Просто зараз!» І серце знову застукало, як тоді, в 16 років... Але що сталося? Чому вона просить про допомогу? Що їй потрібно? Їх розділяють кілометри, роки, таємниці та не сказані слова...

Темиз Я.

Т32 Три цвета осени : роман / Яна Темиз. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2019. — 288 с.

ISBN 978-617-12-5875-4

Первая любовь не забывается. Она выдерживает испытание временем и расстоянием. Спустя годы Нина так и не смогла стереть из памяти Сергея, своего первого возлюбленного. Нина с мужем жила в Турции, как принцесса в восточной сказке. Сергей, бывший работник органов, строил свою жизнь на родине. Их миры никогда не пересеклись бы, если бы не тот телефонный звонок. Полузабытый, но такой родной голос Нины... «Серьожка! Приезжай скорее! Прямо сейчас!» И сердце вновь забилося, как тогда, в 16 лет... Но что случилось? Почему она просит помощи? Что ей нужно? Их разделяют километры, годы, тайны и не сказанные слова...

УДК 821.161.1